



Михаил Загоскин

Вечер на Хопре

«Public Domain»

Загоскин М. Н.

Вечер на Хопре / М. Н. Загоскин — «Public Domain»,

Цикл повестей «Вечер на Хопре», написанных в «готическом» стиле романтизма, интересен не только ярким сказочно-фантастическим колоритом, но и богатым фольклорным материалом, что роднит его с известными произведениями Н.В.Гоголя.

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ	5
ПАН ТВАРДОВСКИЙ	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Михаил Николаевич Загоскин

Вечер на Хопре

ВСТУПЛЕНИЕ

Дядюшка моего приятеля Заруцкого, Иван Алексеевич Асанов – дай бог ему царство небесное, – был старик предобрый. Никогда не забуду я нескольких дней, проведенных мною под конец осени, помнится, в 1806 году, в его саратовской деревушке, на Хопре. Как теперь, гляжу на десятка два крестьянских изб, разбросанных по высокому берегу реки, на его огромные кирпичные палаты, построенные, на диво всему Сердобскому уезду, в два этажа, со сводами и с такими толстыми стенами, что от них, как мячик, отскочило бы сорокавосемифунтовое ядро.

Я не был еще знаком с Иваном Алексеевичем, когда приехал по делам в Сердобск. Имея рекомендательное письмо к городничему, я остановился у него в доме и тут-то в первый раз услышал о богатом помещике, отставном секунд-майоре Асанове. Не проходило дня, чтоб в сердобском высшем обществе не толковали о его странностях и причудах. Городничий, уездный судья, стряпчий – словом, все власти и первостатейные сановники города Сердобска относились об нем с весьма дурной стороны; одни говорили, что он нелюдим и гордец, другие называли его полоумным; были даже добрые люди, которые уверяли, что будто бы он никогда не ходил к обедне и что в его доме нет ни одного образа. Правда, капитан-исправник всегда восставал против этой клеветы, но так как он один из всего Сердобска водил хлеб-соль с Иваном Алексеевичем, то никто и не давал веры его словам. «Воля твоя, Дмитрий Иванович, – говорил ему часто городничий, – воля твоя, а это что-нибудь недаром: кто не хочет жить с людьми, у того совесть не чиста. Добро б он был человек скупой – так нет! Посмотри, как сорит деньгами! Когда прошлого года был пожар в слободе и открыли подписку на погоревших мещан, так он один дал больше, чем все наше дворянское сословие. Ну, рассудите милостиво, господа, что он, для экономии, что ль, живет в этой хоперской деревне, в которой, чай, нет господской запашки и двадцати десятин во всех полях? Человек он богатый: за ним в одной Пензенской губернии с лишком тысяча душ. Вот хоть его Засурская волость: есть к чему руки приложить, десятин по пятнадцати на душу, – а угольев-то сколько: поемные луга на Суре, строевой лес, мельница о восьми поставках – подлинное золотое дно! Не хотелось жить в деревне – Пенза под боком. Конечно, – прибавлял обыкновенно городничий, поправляя с важностию свой галстук, – у нас и в Сердобске общество дворян прекрасное, но ведь Пенза – губернский город, да еще какой!.. Одна Петровская ярмарка чего стоит! Публика отличная, просвещенная, благородные собрания, театр, воксалы, Английский клуб (говорят, однако же, что он рушился), балы – словом, чего хоешь, того просишь. А что всего-то лучше, губернатор с вице-губернатором живут всегда в ладу, сплетней никаких нет, барыни меж собой никогда не ссорятся, и куда ни сунься, везде так и режут по-французски. Что и говорить – Пенза – городок Москвы уголок!»

Хотя сии блестящие похвалы губернскому городу Пензе казались мне всегда несколько преувеличенными, но, не смотря на это, я разделял сначала безусловно мнение городничего. В самом деле, что за охота богатому человеку жить затворником в бедной деревушке, верстах в тридцати от уездного города и, по крайней мере, в двадцати от самого ближайшего соседа, и жить в каком-то заколдованном доме – так прозвала каменные палаты Ивана Алексеевича сестра городничего, девица зрелых лет, с лицом несколько уже поблекшим, но с юной душою

и сердцем отменно романтическим: одна она выписывала из Москвы все романы знаменитой Радклиф¹ и первая известила сердобских жителей о существовании госпожи Жанлис².

– Вы не можете себе представить, – говорила она мне однажды, – какой ужас наводит на всех этот старый дом, которому недостает только башен и подъемного моста, чтоб походить совершенно на Удольфский замок или Грасфильское аббатство. Если б вы знали, сколько рассказывают о нем чудных и страшных повестей. Говорят, что лет сто тому назад прежний помещик держал в нем разбойничью пристань, что глубокие погреба под этим домом завалены человеческими костями, что по ночам происходят в нем необычайные явления: слышен громкий стон, и хотя капитан– исправник уверяет, что будто бы это воет ветер по узким коридорам и переходам, которых понаделано в доме великое множество, но он говорит это потому, что живет в ладу с Асановым. Покойная моя мамушка рассказывала мне преужасную историю об этом доме; странно только, что я почти совсем ее забыла, а, кажется, это не так давно; правда, я была тогда еще совершенным ребенком и, как помню, так перепугалась, что не могла заснуть всю ночь. В этом рассказе есть разбойники, мертвецы и какой-то ночной поезд; мамушка божилась мне, что это не сказка, а быль и что во всем здешнем уезде нет ни одного старика, который не знал бы эту повесть со всеми ее подробностями. Говорят также, что будто бы от времени до времени то же самое, что случилось некогда ночью в этом нечистом, заколдованном доме, повторяется и теперь, а особенно с тех пор, как нынешний помещик переехал в него жить.

– А разве до Ивана Алексеевича Асанова никто в нем не жил? – спросил я сорокалетнюю сестрицу городничего, которая так еще недавно была ребенком.

– Да, никто. Лет двадцать сряду все двери и окна на глухо в нем были заколочены.

«Ну, жаль, что Иван Алексеевич незнаком со мною», – думал я, очень часто слушая все эти рассказы и толки. Стыдно признаться, а грех утаить, я всегда был смертельный охотник до страшных историй и не только верю, но даже не сомневаюсь в существовании колдунов, привидений и мертвецов, которые покидают свои могилы, так же как и огненных змеев, которые летают к деревенским вдовушкам и, рассыпаясь над кровлями изб, являются к ним в виде покойников, о коих они тоскуют. Я скорее посумнуюсь, что Киев был столицею великого князя Владимира, чем поверю, что в нем никогда не жила ведьма, и, признаюсь, пиитический Днепр потерял бы для меня большую часть своей прелести, если бы я не верил, что русалки и до сих пор выходят из лесов своих поплескаться и поиграть при свете луны в его чистых струях, что они, как рассказывает один из наших поэтов:

То в восторге юной радости
Будят песнями брега;
Иль с беспечным смехом младости
Ловят месяца рога
На пучине серебристые.
Или плеском быстрых рук
Брызжут радуги огнистые,
Резвятся в волнах – и вдруг
Утопают, погружаются
В свой невидимый чертог...³

Не могу описать, какое неизъяснимое наслаждение чувствую я всякий раз, когда слушаю повесть, от, которой волосы на голове моей становятся дыбом, сердце замирает и мороз поди-

¹ Рэдклиф – Радклиф Анна (1764–1823) – английская писательница, автор популярных романов «ужасов».

² Жанлис Софи Фелисите (1746–1830) – французская писательница.

³ «То в восторге юной радости»... – строка из стихотворения А. Н. Муравьева (1806–1874) «Русалки».

рает по коже. Пусть себе господа ученые, эти холодные разыскатели истины, эти Фомы неверные, которые сомневаются даже в том, что лешие обходят прохожих и что можно одним словом изурочить человека, смеются над моим легковерием; я не променяю на их сухие математические выводы, на их замороженный здравый смысл мои детские, но игривые и теплые мечты. Одно только меня всегда огорчало: несмотря на русскую поговорку, что «на охотника зверь бежит», во всю жизнь мою не удавалось мне видеть ничего чудесного, и даже все колдуны, с которыми я встречался, как будто на смех, были самые обыкновенные обманщики и плуты. Я наверное знаю, что многие, смотря в два зеркала, поставленные одно против другого, видят и бог весть что, а я смотрел однажды до тех пор, пока мне сделалось дурно и в глазах позеленело, а не видел ничего, кроме бесконечной перспективы и какого-то туманного пятна, которое, как открылось после, было не что иное, как простое черное пятно на зеркале. Уж я ли, кажется, не старался все испытывать! Года два тому назад ходил в Иванов день ночью в лес подкараулить, как цветет папоротник⁴, но, когда время стало подвигаться к полуночи, на меня напал такой страх, что я пустился бежать без оглядки и хотя слышал позади себя необычайный шум и свист, но не могу сказать наверное, нечистая ли сила это проказила, или просто гудел ветер по лесу. В другой раз, когда я жил еще в степной моей деревне, я решился идти в полночь на кладбище. «Авось, – думал я, – хоть один мертвец вылезет из своей могилы прогуляться по церковному погосту». И в самом деле, когда я подошел к кладбищу, то увидел между могил что-то похожее на мертвеца в белом саване. Ах, как забилося мое сердце от страха и удовольствия! Каким приятным холодом обдало меня с головы до ног, как подкосились подо мною колени! И теперь вспомнить не могу без восторга об этой ужасной и восхитительной минуте. Крестясь и творя молитву, я пустился бежать домой, бросился на мою постель и всю ночь то бредил, как в горячке, то дрожал, как в лихорадке. «Итак, – думал я, задыхаясь от радости, – этот безвестный мир существует в самом деле; мертвецы бродят по ночам около могил; души усопших посещают землю, и все то, что господа педанты называют суеверием, обманом, белой горячкой, есть истина». И что ж, любезные читатели, как вы думаете, чем все это кончилось? На другой день я стал рассказывать о сем приключении бурмистру моему Федоту; этот негодяй засмеялся и сказал мне:

– Вы напрасно изволили перепугаться, сударь, ведь это шатался по кладбищу староста Тихон, он болен горячкой и прошлую ночь выбежал из избы в то время, как все спали.

– Как! – вскричал я. – Так это был не мертвец?

– И, батюшка барин, – отвечал Федот, скривив свою безобразную харю, – какие нынче мертвецы! Ведь в старину народ был глуп: всему верили, а теперь и малого ребенка не испугаешь этими бабьими сказками.

«Бабьими сказками!!» Вся кровь моя взволновалась, я затопал ногами, закричал – и если б этот вольнодумец Федот не ушел из моего кабинета, то непременно вцепился бы ему в бороду. Да и как было не взбеситься? Подумаешь, господи боже мой! Добро бы в Петербурге или в Москве, а то и в деревнях уж стали умничать!

После всего сказанного мною читатель может себе представить, желал ли я познакомиться с Иваном Алексеевичем Асановым; но никто, даже сам капитан-исправник, не брался привезти меня к нему в деревню, и я начинал терять уж всю надежду, как вдруг одним утром, проходя базарную площадь, увидел, что кто-то едет в дорожной коляске, глядь поближе – старинный мой приятель и сослуживец, Заруцкий. Мы вскрикнули оба в один голос, экипаж остановился, Заруцкий из него выскочил, и пошли распросы:

– Откуда бог несет?

⁴ ...в Иванов день... как цветет папоротник. – По народным повериям, в Иванов день в местах цветения папоротника можно отыскать клад.

- В деревню, к дяде. А ты как здесь?
- По делам.
- Поедем вместе со мною. Я познакомлю тебя с дядюшкой, он старик предобрый.
- Нет, милый, не могу; мне надобно много еще хлопотать по моему делу.
- Поедем, братец, ведь это близехонько, верстах в двадцати отсюда, на Хопре...
- Верстах в двадцати!.. На Хопре?.. А как зовут твоего дядю?
- Иваном Алексеевичем...
- Асановым?
- Да.
- О! Если так... едем, мой друг!
- Ты знаком с ним?
- Нет, но я так много о нем наслышался... Подожди! Я сейчас заверну домой, возьму с собой узелок, прибегу назад, и катаем!

Как сказано, так и сделано – через четверть часа я сидел уж подле Заруцкого в венской его коляске, которая, покачиваясь на гибких рессорах, понеслась, как из лука стрела, по кочкам и колеям проселочной дороги. Сначала ретивые кони рвались один перед другим; но, пробежав верст двадцать, стали призадумываться и наконец, поднявшись с трудом на крутую гору, пошли смиренным шагом. Вокруг нас виды были довольно приятные: с левой стороны расстилались золотистые поля, на которых кое-где разбросаны были запоздалые копны сжатого хлеба; с правой тянулся густой лес, и от времени до времени вдали, сквозь широкие просеки, светлелись голубоватые воды живописного Хопра. Пока усталые кони, идя шагом, отдыхали, Заруцкий рассказывал мне про настоящее свое жительство, про сельские хлопоты, хозяйство и, наконец, про пламенную любовь свою к какой-то деревенской соседке, молодой вдовушке, «которая, – говорил мой приятель, вздыхая и закуривая четвертую трубку, – поклялась умирить меня с тоски и до тех пор не давать решительного ответа, пока она не износит полдюжины черных платьев из какой-то фланели, видно казенной, потому что они другой год не могут износиться, и, верно, в огне не горят и в воде не тонут. Чтоб поразмыкать мое горе, – продолжал Заруцкий, – я вздумал съездить недельки на две погостить у моего дяди и очень рад, что встретился с тобою».

– Да рад ли будет этому твой дядя? – прервал я. – Мне весьма приятно с ним познакомиться, но, говорят, он такой нелюдим...

– Да, он неохотно заводит новые знакомства, а особливо с нашими уездными дворянами. Они такие чопорные, считаются визитами, а он человек старый, любит покой и больно тяжел на подъем. Ты – дело другое, ты человек заезжий, а сверх того – старинный приятель и сослуживец его племянника, которого он любит, как сына родного; да, правда, и я его очень люблю.

– Скажи, пожалуйста, что ему за радость жить в этой глуши?

– У него есть на то свои причины.

– А например?

– Это целый роман, мой друг. Прежде всего надобно тебе сказать, что во время оно дядя мой, Иван Алексеевич Асанов, был человек бедный; он не мог даже и мечтать о наследстве, которое досталось ему после; и в самом деле, мог ли он думать, что четверо двоюродных братьев, два племянника и три племянницы умрут в одну неделю от чумы, которая в 1771 году пожаловала в Москву⁵. Деревня, в которой живет теперь Иван Алексеевич, принадлежала местному помещику Глинскому, скупому, злому и, если верить изустным преданиям, настоящему разбойнику. У этого Глинского была дочь, прекрасная лицом, еще прекраснее душою. Не знаю,

⁵ ...от чумы, которая в 1771 году пожаловала в Москву. – С весны 1771 г. по январь 1772 г. в Москве была эпидемия чумы, вызвавшая народные волнения и беспорядки. Восставшими был занят Кремль и убит глава московской церкви митрополит Амвросий.

где и когда мой дядя с нею встретился, как познакомился с ее отцом, только дело в том, что он влюбился по уши в Софью Павловну – так звали дочь Глинского, – а на беду, и она его любила. Однажды на отъезде поле, рыская вместе с отцом своей любезной за зайцами, дядя мой решился открыть ему свою душу. Глинский взбеленился, осыпал его ругательствами, назвал нищим и объявил, что если он когда-нибудь близко подъедет к его деревне, то он выпустит на него целую стаю гончих и затравит, как красного зверя. Дядя мой уехал в армию, дрался так, что Суворов прозвал его чудо-богатырем, и, проколотый навывлет штыком в сражении с Огинским при Столовичах⁶, на диво всей армии, остался жив, выздоровел, узнал, что ему упало с неба богатое наследство, поскакал в Сердобск; но было уже поздно. Софья Павловна, зачехнув с горя, давно покоилась на деревенском кладбище, а отец ее, спустя два месяца после ее смерти, сломил себе шею, травя волка. Дядя мой вышел в отставку, поклялся никогда не жениться, добился наконец, что ему продали эту деревню, и поселился в доме, где некогда жила его любезная. «Господь не допустил меня быть мужем Софьи Павловны. Его святая воля! Но если мне не суждено было жить с нею на земле, так по крайней мере в земле-то я буду лежать вместе с нею». Так говорит всегда мой дядя, и вот уже скоро десять лет, как он живет безвыездно в этой деревне.

– О! Да твой дядя человек преинтересный! – сказал я. – Знаешь ли, мой друг, что если б он был помоложе, то я бы не советовал тебе рассказывать всем эту историю... в ней столько романического, что долго ли до беды: как раз найдется новая Софья Павловна, и если ты единственный его наследник...

– Да, мой друг! Но дай бог, чтоб я во всю жизнь мою не вступал в это наследство! И один раз похоронить отца родного тяжело, а дважды на веку остаться сиротой – не приведи господи! Но вот, кажется... так точно! Версты три, не больше осталось. Видишь ли там вдали дубовую рощу?.. За нею тотчас господская усадьба; а вон выглядывает из-за вершин деревьев золоченый крест: это каменная церковь, построенная моим дядей над могилою Софьи Павловны.

– Ах, боже мой! – прервал я, поглядев с ужасом вперед. – Неужели мы спустимся в эту пропасть?

– Постой! – закричал мой приятель. – В самом деле, лучше мы выйдем.

Коляска остановилась, и, пока ямщик с слугою Заруцкого тормозили задние колеса, мы отправились потихоньку вперед. Поросший частым кустарником овраг, через который шла дорога, действительно походил на какую-то пропасть или ущелье, на дне которого журчал мутный поток. Чем ниже мы сходили, тем выше и утесистое становились его песчаные скаты; изрытая глубокими водопроемами дорога, идя сначала прямо, вдруг круто поворачивая налево и, огибая небольшой бугор, опускалась к мосту, перекинутому через пропасть. Когда я взглянул назад, то мне показалось, что коляска, которая полегоньку стала съезжать вниз, висела над нашими головами.

– Знаешь ли, мой друг, – сказал Заруцкий, указывая на бугор, – что этот холм хотя и не насыпной, а может назваться курганом: он весь составлен из могил.

И подлинно, большая часть его была покрыта возвышениями, и кой-где видны еще были полусгнившие деревянные кресты.

– Неужели это деревенское кладбище твоего дяди? – спросил я.

– Нет, мой друг, здесь похоронены убитые разбойниками.

– Разбойниками? – повторил я, невольно поглядев вокруг себя.

– Не пугайся, – продолжал мой приятель, – это было уже давно. В наше время и слуху нет о разбойниках, точно так же как о ведьмах, колдунах, мертвецах, домовых и всей этой адской сволочи, от которой в старину нашим предкам житья не было.

⁶ ...в сражении с Огинским при Столовичах... – Михаил Казимир Огинский (1729–1800) – литовский гетман, командовал войсками в сражении 13 сентября 1771 г. с войсками А. В. Суворова под Столовичами (Минская губерния).

– Ну, это еще бог знает, – сказал я сквозь зубы, – на разбойников есть земская полиция...

– А на колдунов и мертвецов, – возразил мой приятель, – есть управа, которую зовут просвещением.

– Ох уж мне это просвещение! – прервал я почти с досадою. – Но дело не о том: как могли здесь придерживаться разбойники? Разве тут была когда-нибудь большая дорога? Ведь по проселочным грабить некого.

– Большая дорога отсюда в двух верстах. И вот что рассказывают старики об этом овраге: дедушка бывшего помещика деревни, в которую мы едем, держал у себя в доме разбойничью пристань. Это бы еще ничего, было время, что разбои, а особливо в наших пограничных губерниях, назывались удальством и молодечеством; но вот что было худо в дедушке покойного Глинского: говорят, что он был в дружбе с самим сатаной и, как знаменитый польский пан Твардовский, закабалил ему на веки веков свою душу. Разумеется, ему не было никакой нужды в деньгах: черт помогал ему находить клады и даже иногда шутки ради превращал для него кружки из репы и моркови в серебряные рублевки и золотые ефимки⁷; но он любил для забавы, как на охоту, ездить на грабеж. Спуску никому не было: дворян и богатых купцов он залучал насильно к себе в гости, поил, кормил по целым суткам, а там бог весть что с ними было; только говорят, что кто из этих невольных гостей проезжал в одну околицу, тот уж никогда не выезжал в другую. С простыми людьми не церемонились: их резали на большой дороге и бросали в этот овраг. Впоследствии добрые люди, собрав их кости, похоронили на этом бугре. А так как прошел слух, будто бы каждый год ночью, на родительскую субботу, все эти покойники встают из могил и справляют сами по себе поминки, то это место, которое слыло прежде *Волчьим оврагом*, прозвано теперь *Чертовым Беремищем*. Все это я рассказал тебе кой-как, а надобно послушать моего дядюшку: вот уж если он примется рассказывать эти народные сказки и предания, так есть чего послушать.

– Сказки! – повторил я с нетерпением. – Почему же сказки? Ох вы умницы! Слушай вас, так ничему верить не станешь.

– Да неужели ты в самом деле веришь этим бредням?

– Эх, братец! Да что мы знаем! Мы не видим далее своего носа, целый век играем в жмурки, а говорим утвердительно: «Это вздор! Это быть не может! Это противно здравому смыслу!» А что такое наш здравый смысл! Сбивчивые соображения, темные догадки, какой-то слабый свет, который иногда блеснет в потемках как будто бы нарочно для того, чтоб после нам еще сделалось темнее. Нетрудно говорить: «Я не верю этому!» А прошу мне доказать, почему и я не должен верить тому, что кажется тебе невероятным? Нет, Заруцкий, я еще не знаю, кто более ошибается, тот ли, кто верит всему без разбора, или тот, для которого все то вздор, чего нельзя изъяснить одними физическими законами природы.

– Знаешь ли, мой друг, – прервал Заруцкий, – что ты непременно понравишься моему дяде. Он так же, как ты, готов рассердиться, если его станут уверять, что души умерших не являются никогда живым, и расскажет тебе сейчас двадцать случаев, доказывающих противное. Но вот уж коляска наша въехала на гору. Не знаю, как ты, а я очень устал. Сядем!

Когда мы проехали дубовую рощу, то каменные палаты Ивана Алексеевича Асанова открылись нам во всем своем угрюмом величии. Они стояли посреди большого двора, за росшего крапивою. Главный их фасад, в тридцать узких окон, с широкими простенками, тянулся поперек всего двора; парадный подъезд с тяжелым навесом на четырех деревянных столбах был пристроен к середине дома, позади которого большой плодовый сад спускался по отлогому скату до самого Хопра; против самых ворот на широком лугу стояла высокая каланча с выкинутым флагом и огромными часами.

⁷ Золотые ефимки – русское название западноевропейской серебряной монеты (иоахимсталера), из которой в России в XVII – нач. XVIII вв. чеканили серебряные деньги.

– Ого! – сказал Заруцкий, когда мы под громкий лай полдюжины датских и легавых собак въехали на двор. – Да у дядюшки, видно, гости: дормез⁸, бричка и, кажется – так точно! – щегольская тележка сердобского исправника. Тем лучше – нам будет весело.

Двое дюжих лакеев, не роскошно, но опрятно одетых, приняли нас из коляски. Мы вошли в обширные сени. Налево одни двери вели в переднюю, направо, другими, вероятно, входили некогда в девичью, но они были заколочены и закладены кирпичами. (Прошу моих читателей заметить это обстоятельство.) Пройдя бильярдную, столовую и две гостиные комнаты, из коих одна была оклеена китайскими обоями, мы встретили в дверях расписанной боскетом диванной⁹ хозяина дома.

– Здравствуй, Алексей, здравствуй, мой друг! – закричал он, обнимая несколько раз сряду своего племянника. – Спасибо, что навестил старика, а я так было по тебе стосковался, что хоть нарочного отправлять.

– Рекомендую вам, дядюшка, – сказал Заруцкий, подводя меня к Ивану Алексеевичу, – искреннего приятеля. Мы с ним давно уже не видались, хотя были некогда неразлучными товарищами и в Москве в пансионе, и в Петербурге в казармах, и в танцевальном классе Меранвиля, и в походном балагане под неприятелем – словом, везде. Я давно с ним не видался и, повстречав его в Сердобске, решился захватить с собою и привезти к вам.

– Милости просим! – сказал Иван Алексеевич, протянув ласково ко мне свою руку. – Кто с моим Алексеем побратался на ратном поле, тот всегда будет у меня дорогим гостем. Милости просим!

Не помню, что я отвечал хозяину, а кажется, ничего. Я так был поражен его почтенною наружностью, что позабыл совершенно все употребляемые в сих случаях условные фразы и вежливые уверения, в которых почти всегда ни на волос нет правды. Представьте себе человека высокого роста, лет шестидесяти пяти, в форменном военном сюртуке времен Екатерины Второй; вообразите румяное лицо и черные с проседью волосы, высокий, покрытый морщинами лоб и ясные, исполненные веселости и радушия глаза, величественную осанку лихого полкового командира, которого сам Суворов прозвал чудо-богатырем, и кроткую простодушную улыбку, не сходящую с приветливых уст, осененных парюю густых усов, о которых, вероятно, в старину не раз толковали меж собой миловидные полячки. В жизнь мою я не видывал старика с такой привлекательной наружностью и, признаюсь, нимало бы не удивился, если б какая-нибудь красавица призадумалась, когда б ей дали на выбор или быть его женою, или назвать его своим отцом.

– Не угодно ли ко мне в кабинет? – сказал он. – Ты найдешь там старых знакомых, Алексей. Да прошу покорно не отставать, – продолжал он, обращаясь ко мне, – а не то как раз заплутаетесь. У меня в саду нет лабиринта, но зато в доме, как в траншеях, такие зигзаги и апроши¹⁰, что и толку не доберешься.

В самом деле, мы выходили из комнаты в комнату, прошли двумя темными коридорами, то подымались несколько ступеней вверх, то спускались вниз и наконец, пройдя мимо железных дверей кладовой, помещенной в круглой башне, которая, как говорится, ни к селу ни к городу была прилеплена к левому углу дома, вошли еще в один коридор, в конце которого слышны были голоса разговаривающих.

– Тут была в старину девичья, – сказал Иван Алексеевич, подходя к полурастворенным дверям, – но так как я человек холостой, то и рассудил закласть в ней одни двери и сделать из нее мой кабинет: зимою эта комната всех теплее и суше. Милости просим!

⁸ Дормез – дорожная карета, приспособленная для сна в пути.

⁹ ...расписанной боскетом диванной... – боскет (фр.) – купа деревьев.

¹⁰ Апроши – змеевидные и зигзагообразные земляные рвы, устраиваемые атакующими для незаметного приближения к осажденной крепости.

Судя по величине и первобытному значению покоя, в который мы вошли, нетрудно было отгадать, что у прежнего помещика была большая дворня и что, вероятно, в ней женских душ было более мужских. Четыре окна, обращенные на задний двор, занимали одну из стен ее; на остальных были нарисованы сцены из жизни Суворова. Правду сказать, живопись была не отличная, и, взглянув на нее, я невольно вспомнил *маляра Ефрема*, о котором бессмертный певец Ермака¹¹ сказал когда-то, что он имел чудесный дар и что кисть его

... всегда над смертными играла:
Архипа Сидором, Козьму Лукой писала.

На одной стене Суворов представлен был в лесу спящим на соломе, посреди казачьих биваков; у него вовсе не было шеи, но зато такие длинные ноги, что если бы он проснулся и встал, то, конечно, мог бы облокотиться на вершину высокого дуба, под тенью которого покоился. На противоположной стене тот же самый Суворов представлен был в минуту сдачи Краковского замка¹². Он стоял, вытянувшись, как струнка, и оборотясь лицом к толпе поляков, с преогромными усами. Несколько французских офицеров, поджарых и тщедушных, изображены были с поникнутыми главами, а перед всей толпой комендант замка, щеголеватый Шуазье, распудренный и выгнутый зелом, отдавал победителю свою шпагу, с таким же точно сентиментальным видом, с каким театральный пастушок, став в четвертую позицию, подает букет розанов своей размалеванной пастушке. На третьей стене изображено было взятие Измаила¹³; разумеется, все убитые были турки, а поле сражения усыпано чалмами, между которых не валялась ни одна гренадерская шапка. В том месте, где была заделана дверь, ведущая в сени, стоял шкал с библиотекою хозяина. В простенках меж окнами висели турецкие пистолеты, ятаганы, польские сабли и прочие домашние трофеи военных подвигов Ивана Алексеевича Асанова. В одном углу стоял пук черешневых чубуков с глиняными раззолоченными трубками и янтарными мундштуками; в другом, по обеим сторонам широкого камина, висело несколько охотничьих одиноких¹⁴ и дуствольных ружей, ягдташей, пороховых рожков и патронниц, а кругом всех стен устроены были спокойные диваны, обитые шерстяной турецкой материею.

Когда мы вошли в кабинет, четверо гостей, в числе которых был и сердобский исправник, трудились в поте лица и наблюдая торжественное молчание вокруг стола, на котором поставлен был сытный завтрак. После первых приветствий и дружеских восклицаний Заруцкий стал знакомить меня с гостями своего дяди. Первый, к которому он меня подвел, Антон Федорович Кольчугин, показался мне с первого взгляда стариком лет семидесяти; но когда я поразглядел его хорошенько, то уверился, что, несмотря на впалые его щеки, выдавшийся вперед подбородок и седые, как снег, усы, он моложе хозяина. Прагский золотой крест в петлице¹⁵ ясно доказывал, что он был некогда если не сослуживцем, то по крайней мере современником Ивана Алексеевича. Второй, Прохор Кондратьич Черемухин, человек лет сорока пяти, толстый, рябой, с широкими светло-русыми бакенбардами, с маленькими блестящими глазами и с такой смеющейся и веселой физиономиею, что, глядя на него, и плакса Гераклит¹⁶

¹¹ ...маляра Ефрема, о котором бессмертный певец Ермака... – имеется в виду автор поэмы «Ермак» И. И. Дмитриев и его «Надпись к портрету «Ефрема-живописца» (1791).

¹² ...Суворов представлен был в минуту сдачи Краковского замка, – Речь идет о взятии Кракова 15 апреля 1772 г., когда русские войска под командованием Суворова выступали на стороне короля Станислава Понятовского в войне с конфедератами – вооруженном союзе польской шляхты.

¹³ Взятие Измаила. – Речь идет об одной из самых блестящих побед Суворова, когда во время русско-турецкой войны (1789–1791) была взята штурмом считавшаяся неприступной крепость Измаил (1790).

¹⁴ ...охотничьих одиноких... ружей – одноствольных.

¹⁵ Прагский золотой крест в петлице... – награда за взятие Праги (предместья Варшавы) в 1794 г.

¹⁶ ...плакса Гераклит... – Гераклит (кон. VI – нач. V в. до н. э.) – древнегреческий философ-диалектик, представитель ионийской школы; высказал идею непрерывного изменения («в одну реку нельзя войти дважды»): противопоставлялся Демо-

(если он только существовал в самом деле, а не был выдуман для антитезы и рифмы к Демокриту) едва ли бы удержался от смеха. С третьим гостем, исправником сердобским, я был уже знаком, но его не знают мои читатели, а посему я не излишним полагаю сказать и о нем не сколько слов. Он был малый образованный, служил штаб-ротмистром в одном армейском гусарском полку, вышел за ранами в отставку и, выбранный дворянами, из отличного эскадронного командира сделался, как говорится, лихим капитан-исправником. Все помещики его любили, казенные крестьяне молились за него богу, а воры, плуты и пьяницы боялись как огня. Говорят (я повторяю то, что слышал), что будто бы он не брал даром и клока сена и не съедал курицы у мужика, не заплатя за нее по справочной цене, что заседатели его не таскали за бороду для своей забавы выборных и даже канцелярские служители нижнеземского суда пили на следствиях вино только тогда, когда им подносили его добровольно.

Познакомив моих читателей с обществом, в котором я провел несколько дней самым приятным образом, я должен сказать, что в первый день моего приезда в деревню Ивана Алексеевича погода начала портиться; к вечеру небеса нахмурились и полился не летний, крупный и спорый, дождь, но мелкий и дробный; он вскоре превратился в бесконечную осеннюю изморось, от которой и вас, любезные читатели, подчас брала тоска, а особенно если она захватывала вас среди полей, когда желтый лист валится с деревьев, а порывистый ветер гудит по лесу и завывает, как зловещий филин, в трубах вашего деревенского дома. Делать было нечего: нельзя было ни ходить с ружьем на охоту, ни кататься в лодке по Хопру; конечно, можно было ездить по *чернотопу* за зайцами; но для этого надобно было страстно любить псовую охоту, а изо всего нашего общества один Заруцкий ездил иногда с борзыми, но и тот любил охотиться или по перевозимью в хорошую порошу, или в ясный осенний день, в *узержку*, а ездить с утра до вечера с гончими в дождь и слякоть для того, чтобы затравить какого-нибудь несчастного *беляка*, казалось ему вовсе не забавным. Впрочем, нельзя сказать, чтоб мы были без всякого занятия: днем мы пили чай, завтракали, обедали, играли на бильярде и читали журналы. Иван Алексеевич выписывал не только «Петербургские ведомости»¹⁷, но почти все периодические издания, которые в то время выходили в обеих столицах. Разумеется, мы охотнее всего читали московский «Вестник»¹⁸, прославленный первым своим издателем, но от нечего делать перелистывали и «Московского курьера»¹⁹, зевали над петербургским «Любителем словесности»²⁰, трогались чувствительным слогом «Московского зрителя»²¹ и удивлялись разнообразию «Собеседника»²², который только что появился в свет с затейливым названием «Повествователя мыслей в вечернее время упражняющихся в своем кабинете писателей, рассказывающего повести, анекдоты, стихотворения, а *временем и критику*». Часу в седьмом после обеда мы обыкновенно обирались в кабинет к хозяину, садились кругом пылающего камина и вплоть до самого ужина проводили время, разговаривая меж собою. Так как Иван Алексеевич почти всегда управлял общим разговором, то предметом оно было по большей части рассказы о необыкновенных случаях в жизни, о привидениях, дьявольском наваждении

критку как философ-пессимист. Демокрит (ок. 470/460 – сер. IV в. до н. э.) – древнегреческий философ-материалист, один из основателей античной атомистики.

¹⁷ «Петербургские ведомости» – «Санкт-Петербургские ведомости», старейшая русская газета, издававшаяся с 1728 г.; с 1800 г. стала еженедельной.

¹⁸ Московский «Вестник» – имеется в виду журнал «Вестник Европы», двухнедельный журнал, основанный в 1802 г. Н. М. Карамзиным. В 1806 г., к которому относится действие «Вечера на Хопре», журнал издавался М. Т. Каченовским (1775–1842), будущим академиком и ректором Московского университета.

¹⁹ «Московский курьер» – еженедельник С. М. Львова (1805–1806).

²⁰ «Любитель словесности» – журнал, издававшийся в Петербурге в 1806 г. Н. Ф. Остолоповым (1783–1833), критиком, поэтом и прозаиком.

²¹ «Московский зритель» – журнал, издававшийся в 1806 г. князем П. И. Шаликовым (1768–1852), поэтом сентиментального направления.

²² «Собеседник» – журнал «Московский собеседник» издававшийся в 1806 г.

– словом, обо всем том, что не могло быть истолковано естественным образом. Внимание, с которым слушали все эти рассказы, ясно доказывало, что никто не сомневался в их истине. Один только Заруцкий улыбался иногда вовсе невпопад; но никто не замечал этого, и даже весельчак Черемухин, хотя потихоньку с ним перемигивался и шептал ему что-то на ухо, вслух божился, что верит без разбору всем страшным историям, потому, дескать, что его самого однажды давил целую ночь домовой.

Рассказы и повести, которые я слышал в последний вечер, проведенный мною у Ивана Алексеевича, показались мне столь любопытными, что я с величайшей точностью записал их в моем дорожном журнале. Боясь прослыть суевером, невеждою и человеком отсталым, я до сих пор не смог напечатать моих записок; но когда увидел, что с не которого времени истории о колдунах и похождениях мертвецов сделались любимым чтением нашей публики, то решился наконец выдать их в свет. Не смею обещать моим читателям, что они прочтут их с удовольствием или хотя бы без скуки, но твердо и непоколебимо стою за истину моих рассказов. Да, почтенные читатели! Решительно повторяю, что есть *русские истории*, которые несравненно более походят на сказки, чем эти были и предания, основанные на верных не подлежащих никакому сомнению *фактах*.

Ветер бушевал по лесу, мелкий дождь, как сквозь частое сито, лился на размокшую землю. Еще на деревянной каланче не пробило и шести часов, а на дворе уже было так темно, что хоть глаз выколи. Мы все собрались в кабинет. Хозяин, Кольчугин, исправник и я сидели вокруг пылающего камелька, а Заруцкий и Черемухин расположились преспокойно на широком диване и, куря молча свои трубки, наслаждались в полном смысле сим моральным и физическим бездействием, которое итальянцы называют: *far niente*²³.

– Ну, погодка! – сказал наконец Кольчугин, прислушиваясь к вою ветра. – Хоть кого тоска возьмет.

– И, полно, братец! – прервал Иван Алексеевич. – Да это– то и весело. Что может быть приятнее, как сидеть в ненастный осенний вечер с хорошими приятелями против камелька, курить спокойно свою трубку и, поглядывая на плотно затворенные окна, думать: Вой себе, ветер, лейся, дождь! Бушуй, непогода! А мне и горюшки мало! Что и говорить! Умен тот был, кто первый вздумал строить дома.

– И делать в них камины, – прибавил исправник, подвигаясь к камельку.

– Не равен дом, господа, – сказал Кольчугин, вытряхивая свою пенковую трубку, – и не в такую погоду не усидишь в ином доме. Я сам однажды в сильную грозу и проливной дождик решил лучше провести ночь под открытым небом, чем в комнате, в которой было так же тепло и просторно, как в этом покое.

– А что? – спросил исправник. – Видно, хозяева были тебе не очень рады?

– Ну нет! Один хозяин обошелся со мною довольно ласково, да от другого-то мне туго пришлось; хоть и он также хотел меня угощать, только угощенье-то его было мне вовсе не по сердцу!

– Вот что! – сказал Иван Алексеевич. – Да это, видно, брат, целая история.

– Да, любезный, такая история, – продолжал Кольчугин, набивая снова свою трубку, – что у меня и теперь, лишь только вспомню об этом, так волос дыбом и становится.

– Что вы это говорите! – вскричал Заруцкий. – Антон Федорович! Помилуйте! Вы человек военный, служили с Суворовым, а признаетесь, что чего-то струсили.

– Да, батюшка, не прогневайтесь! Посмотрели бы мы вашей удали. Нет, Алексей Михайлович! Ведь это нечто другое; поставь меня хоть теперь против неприятельской батареи, видит бог, не струшу! А вот как где замешается нечистая сила, так уж тут, воля ваша, и вы, батюшка, немного нахрабритесь: сатана не пушка, на него не полезешь.

²³ Ничего неделанье (ит.).

– Ого! – сказал Черемухин, перемигнувшись с Заруцким. – Так в вашей истории черти водятся?

– Смейтесь, батюшка, смейтесь! – продолжал Кольчугой. – Я знаю, что человек вы начитанный, ничему не верите...

– Кто? Я? – прервал Черемухин. – Что вы, батюшка Литой Федорович, перекреститесь!

– Добро, добро! Прикидывайтесь! Вот мы так люди неученые; чему верили отцы наши, деды, тому и мы верим.

– Да как же, братец, – сказал хозяин, – ты мне никогда об этом не рассказывал?

– А так, к слову не пришлось. Пожалуй, теперь расскажу. Дай-ка, батюшка Иван Алексеевич, огоньку!.. Спасибо, любезный!

Все придвинулись поближе к рассказчику, и даже Заруцкий с Черемухиным встали с дивана и уселись подле на стульях. Антон Федорович Кольчугин раскурил трубку, затянулся, выпустил из-под своих седых усов целую тучу табачного дыму и начал:

ПАН ТВАРДОВСКИЙ

В рассказе использован материал распространенной в Польше легенды о гордом шляхтиче Твардовском, занявшемся чернокнижием и ради удовлетворения своих прихотей продавшим душу дьяволу. В польской классической литературе о нем писали А. Мицкевич и И. Крашевский.

– Это было в 1772 году, вскоре по взятии Краковского замка²⁴, который, сказать мимоходом, вовсе не так здесь намалеван, – промолвил рассказчик, указывая на одну из стен кабинета. – Ну, да дело не о том. Хотя Суворов не был еще тогда ни графом, ни князем, но об нем уж начинали шибко поговаривать во всей армии. Он стоял с своим небольшим корпусом лагерем близ Кракова, наблюдая издали за Тиницем и Ландскроном²⁵. Астраханский гренадерский полк, в котором я имел честь служить полковым адъютантом, принадлежал к этому обсервационному корпусу. Наш полковой командир был человек добрый, отлично храбрый и настоящий русский хлебосол. Почти все штаб- и обер-офицеры каждый день у него обедали, и кому надобны были деньги, тот шел к нему прямо, как в Опекунский совет. Но вот что было худо: наш полковой командир был женат, и это бы еще не беда, да жена-то у него была такая нравная, что и боже упаси!

– Так что ж, – прервал Заруцкий, – тем хуже для мужа, а офицерам-то какое до этого дело?

– Какое дело! – повторил Кольчугин. – Эх, сударь! Время на время не приходит. Нынче после полкового начальника первый в полку человек старший баталионный командир; а у нас бывало, коли полковник женат, так второй человек в полку полковница, а если она бойка да хоть мало-мальски маракует в военном деле, так и всем полком заправляет. То– то и есть, батюшка! Нынче век, а то был другой. Я уж вам докладывал, что наш полковник был человек храбрый, не боялся ни пуль, ни ядер, а перед женой своей трусил. Она была женщина дородная, видная, белолицая, румяная... а удаль-то какая... голосина какой!.. Ах ты господи боже мой!.. Что и говорить: город-барыня! Не знаю, потому ли, что она любила своего мужа, или потому, что была очень ревнива, только никогда от него не отставала: мы в поход – и она в поход. В то время, как наш полк стоял лагерем, она жила в Кракове и хоть могла часто видеться с своим мужем, но решилась наконец совсем к нему переехать. Нашему полковому командиру это не вовсе было по сердцу – да ведь делать-то нечего: хоть не рад, да будь готов. Палатку перегородили, наделали в ней клетушек, а из самого-то большого отделения, где, бывало, мы все бражничали с нашим командиром, сделали спальню и поставили широкую кровать с розовым атласным пологом. Я думаю, господа, вы все знаете, что Суворов не очень жаловал барынь, а особенно когда они жили в лагере и мешались не в свои дела, да он был еще тогда только что генерал-майор, связей никаких не имел, а наша полковница происходила из знатной фамилии, и родные ее были в большом ходу при дворе. Другой бы на его месте похмурился, нахмурился, да на том бы и съехал, а наш батюшка Александр Васильевич и не хмурился, а выжил полковницу из лагеря. И теперь без смеха вспомнить не могу. Экой проказник, подумаешь! Умен был, дай бог ему царство небесное! Когда мы вышли в лагерь, он отдал приказ по всему корпусу, что если пустят одну сигнальную ракету, то войскам готовиться к походу; по второй – строиться перед лагерем; по третьей – снимать палатки, а по четвертой – выступать. Он не любил, чтоб солдаты у него дремали, и потому частехонько делал фальшивые тревоги то днем, то ночью. Бывало, пустят ракету, там другую, Суворов объедет весь лагерь, поговорит с полковниками,

²⁴ Это было в 1772 году, вскоре по взятии Краковского замка. – См. коммент. 12.

²⁵ Ландскрона – местечко под Краковом, со старинным замком, взятым войсками Суворова в мае 1772 г.

пошутит с офицерами, побалагурит с солдатами, да тем дело и кончится. Вот этак с неделю погода стояла все ясная, вдруг однажды после знойного дня, ночью, часу в одиннадцатом, заволкло все небо тучами, хлынул проливной дождь, застучал гром и пошла такая потеха, что мы света божьего неувидели. Я на ту пору был за приказаниями у полковника. Жена его боялась грома и, чтоб не так была видна ей молния, забралась на постель и задернулась пологом, однако ж не спала. Лишь только я вышел из палатки, чтоб идти домой, – глядь!.. эге! сигнальная ракета. Я назад, докладываю полковнику. «Как? – закричала барыня, которая сквозь холстинную перегородку вслушалась в мои слова. – Да что, ваш полоумный генерал вовсе, что ль, рехнулся? В такую бурю тревожить весь лагерь!» – «Успокойся, Варенька, – сказал полковник, – ведь это фальшивая тревога, может статься, и второго сигнала не будет. А меж тем вели седлать мою лошадь, – прибавил он шепотом, обращаясь ко мне, – кто его знает! Да чтоб люди были готовы». Я побежал исполнять его приказание и вот гляжу, минут через десять, зашипела вторая ракета, люди в полной амуниции высыпали из палаток и начали строиться. Прошло еще минут пять. Чу! Третья! Вот те раз... Суворов шутить любил, да только не службою, да и народ-то был у нас такой наметанный, что и сказать нельзя! Закипело все по лагерю, в полмига веревки прочь, колья вон, и по всем линиям ни одной палатки не осталось. Взвилась четвертая ракета, авангард выступил, за ним тронулся весь корпус, и мы потянулись по дороге к Ландскрону. Ну, господа, не всякому удастся видеть такую диковинку. Пока бегали в обоз, пока заложили коляску, прошло с полчаса, и во все это время... вспомнить не могу!.. То-то было смеху-то!.. Представьте себе, ночью в чистом поле, под открытым небом – двуспальная кровать с розовым атласным пологом. А дождь-то, дождь – так ливня и льет! Ну! Присмирела наша строгая командирша! Господи боже мой!.. Растрепало ее, сердечную, дождем, намокла она, матушка наша, словно грецкая губка! Куда вся удаль девалась! Вот отвезли ее кой-как назад в Краков, а корпус, отойдя версты две, остановился опять лагерем; и я в жизнь мою никогда не видывал, чтоб кто-нибудь бесился так, как взбеленилась полковница, когда на другой день проказник Суворов прислал к ней своего адъютанта узнать о здоровье.

– Ай да батюшка Александр Васильевич! – вскричал с громким хохотом хозяин. – Что и говорить, молодец!

– Да, это очень забавно, – сказал Черемухин. – Только позвольте, Антон Федорович, речь, кажется, была о сатане...

– А жена-то полковника? – прервал Заруцкий.

– Да это другое дело; я говорю о нечистой силе.

– Постойте, батюшка, – продолжал Кольчугин, – дойдет и до этого дело. Дня через два, как полковница совсем уж обсохла, пошли у нее новые затеи. Жить опять в лагере она боялась, а в Кракове остаться не хотела. Толковали, толковали и решили на том, чтоб сыскать для нее какой-нибудь загородный панский дом или мызу поближе к лагерю. Вестимо дело, кому хлопотать, как не адъютанту; вот я и отправился с утра осматривать все дачи по дороге к Ландскрону и Тиницу. Выбрать было нелегко: наша причудливая командирша хотела и большой дом, и обширный сад, и чтоб никого не было живущих, и то и ее. Целый день я проездил по дачам; измучил своего куцега коня, да и горский жеребец под казаком, который ездил за мною, насили уж ноги волочил. Мы на одной мызе позавтракали, на другой пообедали, и когда стали пробираться назад в лагерь, то уж день клонился к вечеру; пока еще заря не вовсе потухла, мы проехали верст пять. На дворе становилось все темнее и темнее, вдали сверкала молния, а над нами так затучило, что когда мы поехали лесом, так в двух шагах ничего не было видно. Сначала мы кое-как тащились вперед, но вдруг дорога по лесу как будто б сдвинулась, начало нас похлестывать сучьями, и лошади, наезжая на колоды и пеньки, то и дело что спотыкались. «Ох, плохо, ваше благородие, – пробормотал мой казак, – никак, мы заплутались».

– Видно, что так, Ермилов, – сказал я, приподымая на поводу моего куцега, который в третий уже раз падал на оба колена.

– Вот и дождик накрапывает, – продолжал казак, – кабы бог помог нам до грозы наткнуться на какое-нибудь жильё... Пойдите-ка, ваше благородие, кажись, вон там направо лает собака.

В самом деле, недалеко от нас послышался громкий лай; мы поехали прямо на него и через несколько минут выбрались на широкую, обсаженную березами дорогу, в конце которой что-то белелось и мелькал огонек.

– Кажись, это панская мыза, – прошептал Ермилов, – ну, слава тебе господи! Нашли приют.

– Пойдите-ка, братец, – сказал я, – чтоб нам не заплатить дорого за ночлег: ведь мы не у себя, не на святой Руси. Чай, польские-то паны не больно нас жалуют, хорошо у них останавливаться с командой или днем на большой дороге, а ночью и в таком захолустье... долго ли до греха! Уходят нас, да и концы в воду.

– А что? Чего доброго, ваше благородие, – прервал казак, почесывая в голове, – ведь нас только двое... Да куда же нам деваться?

– погоди, Ермилов, – сказал я, – надобно подняться на штуки. Я скажу хозяевам, что прислан квартирьером занять эту мызу для полковой квартиры и что завтра чем свет придет сюда первая рота нашего полка.

– И впрямь, ваше благородие, – подхватил казак, – пугнемте-ка их постоем, так дело будет лучше. Коли они станут думать, что мы нарочно к ним приехали и что завтра нагрянет к ним целая рота гренадер, так уж, верно, никто не посмеет и волосом нас обидеть.

Разговаривая таким образом, мы подъехали к высокому забору, позади которого, среди широкого двора, стоял каменный дом в два этажа, с круглыми башнями по углам. В одном углу светился огонек; ни одной души не было видно ни на дворе, ни в доме, все было тихо как в глубокую полночь, и только лаяла одна цепная собака. Ворота были не заперты, мы подъехали к дому, я слез с коня, вошел в сени... никого. Прямо передо мной лестница вверх. Я начал по ней взбираться, сабля моя так стучала по каменным ступенькам, что, казалось, можно бы было за версту меня слышать. Взойдя на лестницу, я приостановился – все тихо. «Кой черт, – подумал я, – неужели в этом доме нет никого, кроме цепной собаки?» Проведя рукою по стене, я ошупал дверь, толкнул, она растворилась; вхожу – опять никого. Холодно, сыро, ветер воет, в окнах нет рам. «Вот что! Эта часть дома не достроена, но где же светился огонек? Кажется, левее». Я вышел опять к лестнице, прошел вдоль стены – еще двери; отворил. Ну! Попал наконец на жилые покои! В небольшой комнатке, слабо освещенной сальным огарком, двое слуг играли в карты, а третий спал на скамье. В ту самую минуту, как я вошел в этот покой, мне послышался вдали довольно внятный говор, как будто бы от многих людей, с жаром между собой разговаривающих. Но лишь только один из игравших в карты слуг, увидя меня, ушел во внутренние комнаты, то вдруг все утихло.

– Как зовут эту мызу? – спросил я у слуги, который остался в передней.

– Эту мызу? – сказал он, глядя на меня так нахально, что я невольно смутился и не вдруг повторил мой вопрос.

– Ее зовут Бьялый Фолварк, – отвечал наконец слуга, продолжая смотреть мне прямо в глаза.

– А как зовут хозяина?.. Да отвечай же, животное, когда тебя спрашивают! – продолжал я, возвысив голос и подойдя к нему поближе.

Слуга попятился назад и, взглянув на своего спящего товарища, пробормотал:

– Моего пана зовут Ян Дубицкий... Гей, Казимир!

– Ну, так и есть! – сказал я. – Насилу же мы отыскали вашу мызу. Веди меня к хозяину.

– Почекай²⁶, пан! Ген, Казимир!

²⁶ Подожди (пол.).

Третий слуга, который спал на скамье, вскочил и, увидя перед собой русского офицера, закричал: «Цо то есть?.. Москаль!»

– Сойди-ка, брат, вниз, – сказал я, стараясь казаться спокойным, – там стоит казак...

– Казак, – вскричал полусонный лакей, – один казак?

– Покамест один, а скоро будет много. Возьми у него лошадей, отведи их в конюшню, а ему вели взойти сюда.

Слуга не торопился исполнить мое приказание; он поглядывал как шальной то на меня, то на своего товарища, а не трогался с места.

– Ну, что ж ты глаза-то выпучил, дурень, – закричал я повелительным голосом, – иль не слышишь? Пошел! Да смотри, чтоб лошади были сыты!

Слуга, пробормотав себе что-то под нос, вышел вон, и в то же время лакей, который ходил обо мне докладывать, растворив дверь, пригласил меня в гостиную. Пройдя не большую столовую, я вошел в комнату, довольно опрятно убранную и освещенную двумя восковыми свечами. В одном углу приставлено было к стене несколько сабель, и с полдюжины *конфедераток*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.